

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/19986645/36/10

С.Ю. Корниенко

АВТОРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И «ВНУТРЕННИЕ ГОРОДА» РУССКОГО МОДЕРНА (МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ)

Статья посвящена роли московской и петербургской поэтической прописки в самоопределении О. Мандельштама и М. Цветаевой, а также поэтов, критиков и филологов первой волны русской эмиграции, осмысляется генеалогия эмигрантских «петербуржцев» и «москвичей» в соотношении с дискуссиями о путях поэзии 1910-х гг. Гибель империи в целом и утрата Петербургом столичного статуса проецируются в критике русского Парижа на эмигрантские столицы (Берлин и Париж), а «московский стиль», ассоциируемый с варварским нашествием», мыслится в качестве угрозы новому Петербургу, т.е. Парижу. Работа выполнена на материале раннесоветской и эмигрантской периодики (газеты «Жизнь искусства», «Звено», «Последние новости», журнал «Версты» и пр.).

Ключевые слова: М. Цветаева, Г. Адамович, московский стиль, внутренний город, авторская идентичность.

В сентябре 1922 г. в новом журнале «Россия» увидела свет статья О. Мандельштама «Литературная Москва», печально известная резким выпадом в сторону недавно уехавшей за границу М. Цветаевой и книги стихов «Версты. Вып. 1»¹:

Для Москвы самый печальный знак – богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающееся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве – это женская поэзия. <...> Большинство московских поэтесс ушиблены метафорой. Это бедные Изиды, обреченные на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующей вернуть поэтическому образу, Осирису, свое первоначальное единство [1. Т. 2. С. 102].

И. Шевеленко в монографии «Литературный путь Цветаевой» справедливо утверждает, что в мандельштамовской статье фиксируется момент ухода «былого культового персонажа эпохи» – «поэтессы десятых годов», «а “женская поэзия” теперь олицетворяла все то, что называлось отработанным топливом модернизма: по Мандельштаму – “приподнятость тона”, “нестерпимую трескучую риторику”» [2. С. 217]. Однако исследователь лишь отмечает, но не объясняет, почему Мандельштам проигнорировал датировку стихотворений: «Есть, впрочем, известная недобросовестность в словах Мандельштама: он даже не упоминает, что стихи Цветаевой, о которых идет речь, написаны еще до революции, а не в последние годы, что в контексте его статьи существенно» [2. С. 216].

¹ Книга была сдана М. Цветаевой в московский Госиздат весной 1922 г. незадолго до отъезда за границу и увидела свет в начале декабря 1922 г.

Исключительно уходом «былого культового персонажа» невозможно объяснить как высокую реактивность Мандельштама, который в нарушение неписаных правил торопится опубликовать отзыв, не дожидаясь выхода книги, так и последовавшую в тексте очерка обструкцию «бедной Изиды». Заметим, что в сборник «Версты. Вып. I» (1922) Цветаева поместит сразу несколько стихотворений, посвященных Мандельштаму («Никто ничего не отнял...», «Ты запрокидываешь голову...», «Откуда такая нежность...», «Из рук моих – нерукотворный град...»). В мандельштамовский сборник «Tristia» (1922) войдут два стихотворения, посвященные Цветаевой, – «Не веря воскресенья чуду...» и «На розвальнях, уложенных соломой...». На наш взгляд, жесткая тональность отзыва связана с ассоциированностью цветаевской книги с мандельштамовской. Причем страстность Мандельштама-критика сигнализирует, что в статье речь все-таки идет не об отдельных посвященных ему стихотворениях давнего периода «дарения» Москвы, а о поэтическом сборнике в целом, тематически названном Мандельштамом «стихами о России»¹, аттестованными в качестве «*лже-московских*» и «*лже-народных*». Это позволяет нам рассматривать мандельштамовский демарш в качестве своеобразной превентивной меры, разрушающей возможную диалогичность этих книг.

Л. Панова, сопоставившая стихи о Москве Цветаевой и Мандельштама, видит принципиальное отличие мирообразов Москвы в цветаевском и мандельштамовском идиолекте, связывая образ города у каждого поэта с разными формами универсализации. «Для Мандельштама, – утверждает исследователь, – Москва – лишь один из городов, который может быть определен и описан по аналогии с другими городами» (Флоренцией, Римом и Угличем). В цветаевском же случае Москва предстает в виде сугубо русского города (в разных формах – торжественной, фольклорной, народной), а сама «русскость для Цветаевой периода СМ, – по мнению Пановой, – это еще и образ жизни, поведение от богопочитания до разгула» [4. С. 729, 736].

В развитие идеи Л. Пановой можно добавить, что мандельштамовский «эйдос» Москвы в стихотворениях 1916 г. конструируется в аполлоническом эстетическом поле; в таком случае петербургский поэт-цивилизатор («В разноголосице девического хора...») закономерно подвергается обструкции со стороны «варварской» столицы («На розвальнях, уложенных соломой...»). В цветаевских же «Стихах о Москве», вошедших в «Версты. Вып. I», можно увидеть воплощение в индивидуальном развитии именно того идеала слияния «народного» и «всенародного», о котором грезил А. Блок и Вяч. Иванов в знаменитой дискуссии 1910 г., результатом которой и стало разделение русских поэтов на условных «французов» – парнасцев брюсовской школы и «немцев» – младших символистов в концепции А. Белого.

В критике 1920-х гг. на смену «французам» и «немцам» придут – на тех же эстетических позициях – «внутренние» же петербуржцы и москвичи. Причем фрустрация реальных петербуржцев начала XX в., переживших в течение краткого времени потерю и имени города (причем – два раза), и личного статуса, проецируется на виртуальные пространства – «внутренние

¹ Возможно, отсылка к черновому тематическому названию сборника «Версты. Вып. I» – «Стихи о России». См.: [3. С. 36].

города» (Н. Анциферов) и «другие столицы». Например, в репрезентативной для обсуждаемой проблемы статье 1923 г. эмигрантского критика А. Левинсона, отозвавшегося на издательский бум в Берлине 1922–1923 гг., недолгая провинциализация Парижа болезненно осмысляется через аналогии с русскими Петербургом и Москвой:

Париж в эмиграции, что Петербург для России: более не столица. Что для России Москва, то для нас Берлин. Париж же русский сегодня не более, чем заштатный уездный город, верстах в ста от полустанка. Берлин выбрасывает десятки названий, десятки и сотни тысяч томов. Мы в кои веки дали сборник. В нашем захолустье тихо, так тихо, что кажется подчас, жизнь совершенно замерла; тихо и чисто. Так было и в брошенном Петербурге; езда по улицам прекратилась, и не стало пыли, рассеялся смрад комиссаровских автомобилей; и никогда не казался более захватывающе прекрасным державный профиль пустынных проспектов. Искажённый лик Петербурга как-то сурово просиял в самой его агонии. Так все более суровым представляется и наше парижское уединение по сравнению с многолюдной суетой Берлина. Среди нас почти уж нет беженцев, тех масс, которые стихийные силы паники или принуждения вымели за рубеж; есть эмигранты. Те из них, что душою прилепились к духу и быту страны, к трудной и прекрасной здешней жизни [5. С. 2].

Утрата Петербургом, в цехово-акмеистской исторической проекции – северным Римом, столичного статуса необычно актуализируется в глобальном, захватившем всю послевоенную Европу контексте конца империй. Вместо ожидаемого нашествия варваров («грядущих гуннов») с юга (в реальной истории самого Рима – с севера) и физического разрушения первого Рима история совершает неожиданный кульбит: «варвары с юга», инвертируя проект Петра, организуют другой полюс силы – альтернативную столицу как центр нового, генетически иного имперского проекта.

В 1926 г. в первом номере журнала «Версты» будет опубликована статья философа Г. П. Федотова «Три столицы». Жестко противопоставив «два неизбежных срыва России»: «западнический соблазн Петербурга» и «азиатский соблазн Москвы», Федотов утверждает в качестве спасительного магнитного полюса «Киев, или идею Киева», в котором ему видится эллинский путь России, привитой «к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его» [6. С. 158].

Образ Петербурга выстраивается Федотовым в системе антитез по отношению к Москве и России – как «мужское» / «женское», «сознательное» / «бессознательное», «насильник» / «жертва»:

Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых тираном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море» [6. С. 148].

Похоронивший «милую обывательскую Москву» вместе с «лихорадящим Петербургом», философ, ретроспективно обращаясь к эпохе расцвета московского модерна, видит очевидную закономерность в перемене столичного статуса, генеалогически возводя «новую большевистскую Москву» к предреволюционной «метропольно-кабацкой традиции»:

Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнилась с Петербургом, как центр научный, и обогнала его как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась обскатать Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие слова. *Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом.* По сравнению с Петербургом, *здесь можно было встретить «почти гениальное», но никогда – безукоризненное.* Новая Москва работала широко, торопливо и не любила доделывать до конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин... Москва все еще жила слишком *привольно* и слишком *безответственно*. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного безвкусия (курсив мой. – С.К.) [6. С. 154–155]¹.

Г. Адамович реагирует на выход первого номера «Верст» очередной «Литературной беседой». Представив четырьмя короткими предложениями цветаевскую «Поэму горы» в качестве «цыганщины, действующей прежде всего “физиологически”», петербуржец Адамович самое большое внимание уделил работе Федотова, сознательно спрямляя замысловатые pro et contra статьи и обращая его тезис о петербургской генеалогии эмиграции в свою пользу:

Е. Богданов (псевдоним Федотова. – С.К.) в «Трех столицах» пишет: «...почти вся зарубежная Россия – оторвавшиеся члены России петербургской». Это очень верно. *Эмиграция есть, действительно, выражение петербургского духа*, хотя отдельные ее представители и прожили всю жизнь в Москве. Обе столицы имеют ведь заложников одна в другой: *были в Москве вечные петербуржцы по духу, были в Петербурге вечные москвичи.* <...> Москва шире, разнообразнее, цветистее Петербурга. Но Москва и грязнее, и мутнее, и уступчивей, и сговорчивей его. В революцию все это стало наглядно-ясно [8. С. 2].

Сближая свою позицию с образцовым «внутренним эмигрантом» Чаадаевым, Адамович заканчивает статью не только ожидаемой апологией «классического Петербурга», попавшего в плен «не-классической России», но и под-

¹ Тезисы Г. Федотова осмыслили и развивали многие исследователи. Н.Е. Меднис отмечала в качестве важного свойства московского пространства – «протеичность», что отличает его от Петербурга и Рима. Именно это качество пространства препятствует, по мнению исследователя, образованию устойчивого московского «сверхтекста» [7. С. 54].

спудно дистанцирует от петербургского текста блоковских «Скифов». Не желая ослаблять петербургский пантеон классиков Адамович аккуратно делегирует ответственность от автора к почитателям текста:

В сущности, не западничество характерно для Петербурга, а только отвращение, дрожь отвращения к славянофильству и мелким ересям, в виде скифства или евразийства. Националистической же заносчивости – «не склоним выи перед Западом!» – у него не было. Поэтому: склоним выи, подышим нежнейшим, сладчайшим, редющим западным эфиром, припадем, как хотел Карамазов, к западным «дорогим могилам». И спасемся вместе с Западом. А те «с раскосыми и жадными глазами», тупо бормочущие «да, скифы мы, да, азиаты мы!» – пусть изворачиваются, как знают... [Там же].

Через полгода, в статье 1927 г., обращенной к парижской литературной молодежи, Адамович будет уверенно утверждать верность «географической» рубрики русской поэзии, поверх всех «измов»:

Мне недавно пришлось первый раз слышать выражение «парижская школа русской поэзии». Улыбку сдержать трудно. Но улыбаться, в сущности, нечему. Это верно, парижская школа существует, и если она по составу своему не целиком совпадает с Парижем, то все-таки географически ее иначе определить нельзя. А ведь географические определения поэтических школ, пожалуй, самые правильные. В годы расцвета всевозможных «измов» русская поэзия гораздо точнее и отчетливее делилась просто на две группы: петербургскую и московскую, с разветвлениями внутри их, но с одним, своим лицом у каждой. «Стиль» городов был и стилем поэзии. Конечно, в Петербурге были прирожденные москвичи, как и в Москве встречались петербуржцы по духу. Но таких «заблудившихся» и там и здесь было немного; их сторонились и недолюбливали [9. С. 1].

Адамович не называет имен «заблудившихся» маргиналов, чей «внутренний город» не совпадает с фактической пропиской, пафос его статьи направлен на решение совершенно других, более актуальных вопросов, но в подобной логике таковыми парадоксальным образом становятся Брюсов в амплуа апологета «чистого искусства» – для Москвы и Блок с Вяч. Ивановым для узурпировавших Петербург поэтов аполлонической школы.

В 1937 г. Цветаева изольет весь свой скепсис по поводу «внутренних городов» Адамовича в личном письме Ю. Иваску, приславшему на суд поэта свою статью о ней:

И еще – какое мелкое, почти комическое деление на «Москву» и «Петербург». Если это было топографически-естественно в 1916 г., – то до чего смешно – теперь! когда и Москвы-то нет, и Петербурга-то нет, и вода – не вода, и земля – не земля.

Так еще делят Адамовичи, у к<отор>ых за душой, кроме Петербурга, никогда ничего не было: *салонного* Петербурга, *без* Петра!

Да, я в 1916 г. первая так сказала Москву. (И пока что последняя, кажется.) И этим счастлива и горда, ибо это была Москва – последнего часа и раз.

На прощанье. «Там Иверское сердце – Червонное, горит». И будет гореть – вечно. Эти стихи были – пророческие. *Перечтите* их и не забудьте *даты*.

Но писала это не «москвичка», а бессмертный дух, который дышит *где хочет, рождаясь* в Москве или Петербурге – дышит *где хочет*.

Поэт есть бессмертный дух.

А «Москва», как темперамент – тоже *мелко, не та мера*. И, главное, сейчас, плачевно-провинциально: новинка с опозданием на 20 лет: на целое поколение [10. Т. 7, кн. 1. С. 408].

Цветаева, как известно, очень пристрастно следившая за карьерой Адамовича-критика, реагирует отнюдь не на отдельную статью, а на развернутую в целом ряде его статей 1923–1937 гг. достаточно стройную концепцию. Любопытно, что цветаевские «Версты. Вып. I» в качестве симптоматичного примера именно «московского стиля» впервые будут упомянуты еще в статье Адамовича «Русская поэзия», вышедшей в январском журнале «Жизнь искусства» за 1923 г.:

О московских делах трудно судить окончательно. Не все оттуда доходит до нас. Более всего связано надежд с именем Пастернака. Как бы ни отнестись к его книге «Сестра моя жизнь», достаточно прочесть две-три строфы его, чтобы понять, что надежды эти не преувеличены.

Нельзя не упомянуть о двух московских сборниках: о цветаевских «Верстах», очень неровных и очень небрежных, но неотразимо-пленительных в своей свежести, и о глубокой и прекрасной книге Мандельштама «Tristia». Вот и все [11. С. 4].

Спасение поэзии от тлетворного московского влияния, прежде всего ассоциированного критиком с «бездарной погоней за обновлением формы», связывается с «ликвидацией романтизма» и последующим возвращением поэзии даже не к экспериментам «чистой и здоровой» школы парнасцев, а прямо к классицистическим построениям Буало¹. При этом принципиальные отличия поэтов-москвичей от петербуржцев видятся Адамовичем в следующем:

Поэтическая Россия разделяется на Москву и Петербург. Петербургская поэзия, как всем известно, суше и строже. Московская шумливее и разухабистей [11. С. 3]².

В статье «Поэты в Петербурге» (1923), опубликованной уже в парижском «Звене», Адамович вновь будет настаивать поверх всех «*измов*» на правильности своего деления поэтов на «петербуржцев» и «москвичей»:

Это гораздо слабее чувствуют москвичи. В своей сутолоке и неразберихе, в вечных московских междоусобицах они не сознают в себе единства стиля, которое так явственно в Петербурге. Петербургские поэты как бы связаны

¹ В эстетических построениях Адамовича эмигрантского периода место Буало займет Расин.

² Ср. с образом «разбухшей Москвы» в более поздней, уже парижской заметке: «Москва разбухла и как бы «обнагдела» от своего неожиданного торжества. Петербург замер, и уже теперь он достоин был бы стать местом паломничеств – если не исторических, то хоть эстетических» [12. С. 2].

круговой порукой, и петербургскому символисту свой же футурист (если только это поэт) – ближе, думается мне, чем, например, Андрей Белый.

Едва ли надо говорить об особенностях петербургского и московского искусства. Пушкин написал как-то Наталье Николаевне, что он “ей-ей” разведется с ней, если она будет держать себя как московская барышня. Это очень характерная обмолвка петербуржца. Лучше всего определяется это деление внешностью обоих городов. Сейчас разоренный, нищий и царственный Петербург еще острее в своем стиле.

Не знаю, как объяснить это столь явное наличие двух характеров в русском искусстве. Может быть, правы марксисты, утверждая, что «бытие определяет сознание» [13. С. 2].

Через год с небольшим Адамович повторит понравившийся ему пассаж о «московской барышне» – уже в рецензии, обращенной к прозаическим экспериментам Цветаевой – эссе «Кедр», посвященном С. Волконскому, и «Световому ливню» – о Пастернаке:

Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не сознаться: я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, это совсем плохие вещи. У Цветаевой нет никакой выдержки: она пишет очень много, ничего не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгует. Но все-таки ей – одной из немногих! – дан «песен дивный дар» и редкий, соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести. Не хватает ей простоты. *Пушкин писал жене: «Если будешь держать себя московской барышней, ей-ей разведусь»*, – цитирую по памяти, едва ли точно. В Цветаевой очень много московской барышни. Не сомневаюсь, что это показалось бы ей упреком не существенным – эстетическим «возраженьем». Но мне кажется, что *это гибельный порок* [14. С. 2].

Д. Святополк-Мирский, составляющий свою «маленькую антологию» русской лирики, на полюсах которой были расположены Ломоносов и Пастернак, метафорически уподобил историю русской поэзии в своем изложении гипсографической карте, на которой обозначаются не только «высоты», но и «направление и развитие складок». Не менее уверенно, чем Адамович, Святополк-Мирский разделит поэтов-современников по фактической прописке в одной из двух столиц. Если законность места акмеистов-петербуржцев в формируемом им пантеоне кажется критику очевидной («из петербуржцев-акмеистов я, кажется, никого существенного не пропустил»), то большая группа поэтов-москвичей была удостоена исключительно обидного упоминания в «предисловии» (по образному выражению критика, «Salon des Riffusés»):

Из эпигонов символизма у меня никого нет: нет ни Городецкого, ни Клюева. Скорее могли бы присутствовать Вл. Ходасевич, своеобразно возродивший культуру поэтического остроумия и *pointe* на почве мистического идеализма; и Марина Цветаева, талантливая, но безнадежно распушенная москвичка [15. С. 12].

Остроумная характеристика Цветаевой как «распущенной москвички» несколько раз вернется ее автору на страницах различных изданий во время дискуссии 1926 г., развернутой вокруг журналов «Благонамеренный» и «Версты». В статьях, опубликованных в этих журналах, а также в публичных докладах Святополк-Мирский будет утверждать Цветаеву в качестве первого поэта эмиграции, составляющей с Маяковским и Пастернаком поэтический триумvirат поверх политических и эстетических барьеров.

В частности, в статье «О консерватизме» (Благонамеренный. 1926. № 2) Святополк-Мирский противопоставляет «вечернюю зарю» («конец прекрасного») Волошина и Ходасевича «зарю утренней» Пастернака и Цветаевой и обозначает преимущество последних, так как именно они становятся, по мнению критика, создателями новых ценностей:

Искусство – создание новых ценностей. Поэты потому и почитаются высшей породой людей, что они создают *новое*, т.е. такое, о чем раньше знали, но не догадывались. Никто не упрекает Эйнштейна за трудность теории относительности. Очевидно, стоит трудиться, чтобы понять. Не мы нужны поэтам, а они нам. Я допускаю, что многими Пастернак и Марина Цветаева не сразу воспринимаются, но ведь мне надо сделать усилие и для того, чтобы попасть из дома в британский музей. Однако музей мне нужнее, а не я – ему, и поэтому я иду в него, а не жду, пока он ко мне прикатится [16. С. 150, 149].

Реакции критиков на апологию Цветаевой в статье и в дальнейших публичных выступлениях Святополка-Мирского продолжались весь 1926 г. Так в июльском номере «Звена» за 1926 г. появляется язвительная заметка, посвященная новому номеру журнала «Воля России», в которой Г. Адамович, скрывшийся за криптонимом Ю. С., напомнит Святополку-Мирскому о его оценке Цветаевой двухлетней давности:

После Ремизова – Марина Цветаева с большим циклом стихов «Сивилла». В цикле есть очень удачные стихотворения (в особенности «Деревья» и среди них, второе), есть и совсем слабые, совсем вялые. Но, конечно, читать Цветаеву всегда увлекательно и дарование ее всегда сказывается. Некоторые критики к ней, по нашему мнению, несправедливы. Трудно, например, согласиться с кн. Святополком-Мирским, называющим ее в своей антологии хотя и «талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой» (Русская лирика, стр. XII) [17. С. 8].

В газете «Последние новости» своеобразный ответ автору диалога «О консерватизме» напишет М. Цетлин, которого заденет решение Святополком-Мирским «пушкинского» и «бунинского» вопроса. Он не преминул напомнить критику его недавний конфуз и смену «поэтических вех»:

Еще совсем недавно Марина Цветаева называлась нашим критиком «безнадежно распущенной москвичкой». Теперь нас убеждают в том, что мы должны «радоваться тому, что она наша современница, и гордиться тем, что она наша соотечественница». Мы далеки от обоих крайних суждений о талантливой поэтессе, но начинаем бояться: не наступит ли момент, когда Пас-

тернак, например, будет объявлен «безнадежно распущенным москвичом». Но дело не в отдельных отзывах об отдельных писателях. Как бы ни отличались они по таланту и по устремлениям, – во всех них есть нечто общее: они вовсе не непомнящие родства абсолютные новаторы. Они многое хорошо помнят, но память у них короткая. Они продолжают ту «необорванную нить традиции», которую кн. Святополк-Мирский считает трупной и разрушительной» [18. С. 4].

Устойчивость московской и петербургской поэтической «прописки» – любопытная особенность эмигрантского быта 1920–1930-х гг. Русские колонисты, заполнившие улицы Берлина и Парижа, находясь в ситуации смешения литературных полей в эмигрантских «вавиллонах» и «ковчегах», довольно быстро забывают о покинутых литературных кружках, но оставляют в качестве важного компонента самоидентификации свое московское или петербургское происхождение, продолжая и в эмиграции бесконечный спор двух столиц.

Литература

1. *Мандельштам О.Э.* Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2009–2014.
2. *Шевеленко И.Д.* Литературный путь Цветаевой: идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. М.: Новое лит. обозрение, 2002. 464 с.
3. *Цветаева М.И.* Незданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. 640 с.
4. *Панова Л.Г.* «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М.: Языки славянской культуры, 2003. 802 с.
5. *Левинсон А.* Парижская ветвь русской литературы (второй сборник «Окно») // Звено. 1923. 13 авг. № 28. С. 2.
6. *Федотов Г.П.* Три столицы // Версты. 1926. № 1. С. 147–163. Подпись: *Е. Богданов.*
7. *Меднис Н.Е.* Сверхтексты в русской литературе: учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. пед. ун-та, 2003. 170 с.
8. *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 22 авг. № 186. С. 1–2.
9. *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1927. 23 янв. № 208. С. 1–2.
10. *Цветаева М.И.* Собрание сочинений: в 7 т. М.: Терра, 1998.
11. *Адамович Г.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. 16 янв. № 2 (876). С. 3–4.
12. *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. 4 мая. № 118. С. 1–2.
13. *Адамович Г.* Поэты в Петербурге // Звено. 1923. 10 сент. № 32. С. 1–2.
14. *Адамович Г.* Литературные заметки // Звено. 1924. 6 окт. № 88. С. 1–2.
15. *Русская лирика. Маленькая антология: от Ломоносова до Пастернака / сост. кн. Д. Святополк-Мирский.* Париж, 1925. 206 с.
16. *Мирский Д.* О литературе и искусстве: статьи и рецензии 1922–1937. М.: Новое лит. обозрение, 2014. 616 с.
17. *Адамович Г.В.* «Воля России» // Звено. 1926. 4 июля. № 179. С. 8. Подпись *Ю.С.*
18. *Цетлин М.* О литературном консерватизме и князе Д. Святополке-Мирском // Последние новости. 1926. 8 июля. С. 4.

THE AUTHOR'S IDENTITY AND "INTERNAL CITIES" OF RUSSIAN MODERNISM (MOSCOW AND SAINT PETERSBURG).

Tomsk State University Journal of Philology, 2015, 4(36), pp. 131–140.

DOI 10.17223/19986645/36/10

Kornienko Svetlana Yu., Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation), Institute of World Literature (Moscow, Russian Federation). E-mail: sve-kornienko@yandex.ru

Keywords: M. Tsvetayeva, G. Adamovitch, Moscow style, internal city, author's identity.

The article examines the role of poetic affiliation with Moscow or Moscow and Saint Petersburg on the self-identification of Osip Mandelstam and Marina Tsvetayeva, along with poets, critics and

philosophers of the Russian emigration's first wave, as well as genealogy of "Petersburgians" and "Muscovites" in exile in relation to the 1910s discussions on the future of poetry. The Russian Paris literary criticism projects the fall of the empire in general and Petersburg losing its status of a capital in particular upon the "émigré capitals" (Berlin and Paris), while the "Moscow style", associated with an invasion of barbarians, is thought to be a threat to the new St. Petersburg, i.e. Paris. The research is based on early soviet and émigré periodicals (newspapers *Zhizn' iskusstva*, *Zveno*, *Posledniye novosti*, journal *Versty*, etc.).

Mandelstam's "eidos" of Moscow in his 1916 poems is devised in the Apollonian aesthetic field (which will later be interpreted by the poet as "longing for the world culture"), and the Petersburgian poet as a civilizer naturally is obstructed by the "barbarian" capital. On the contrary, Tsvetaeva's "Poems about Moscow", included in the book *Milestones I*, demonstrate an incorporation of the ideal merging of the "popular" and the "universal". A. Blok and V. Ivanov dreamed of this merge in the discussion on the future of Symbolism which resulted in the division of the Russian poets into "French", Parnassians of Bryusov's School, and "Germans", younger symbolists in A. Bely's conception.

In the 1920s criticism, the "French" and the "Germans" will be followed by the "internal" Petersburgians and Muscovites. In this case, the frustration of the real original Petersburgians who in a short time witnessed the city losing both its name (twice) and its status of a capital is projected upon virtual spaces – "internal cities" (N. Antsiferov) and "other capitals". For instance, émigré critic A. Levinson (*Zveno*), in his reaction to the publishing boom in Berlin in 1922–1923, reflects bitterly on the provincialization of Paris making analogies with Moscow and Saint Petersburg.

A strict division of émigré poetry into Petersburgian and Muscovite is also typical for the criticism in *Zveno* and *Posledniye novosti*. Tsvetaeva's poetics (from gypsy motifs to "the dissolute Muscovite") will thus be embedded in the context of the "Moscow invasion", and the danger of the Moscow influence will be noted not only by the poet's literary opponents but by her friends as well. An early D. Svyatopolk-Mirsky's characteristic of Tsvetaeva as a "dissolute Muscovite" will return in the 1926 critical discussions around journals *Versty* and *Blagonamerenny*.

References

1. Mandelstam, O.E. (2009–2014) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem* [Complete Works and Letters]. 3 v. Moscow: Progress-Pleyada.
2. Shevelenko, I.D. (2002) *Literaturnyy put' Tsvetaevoy: ideologiya – poetika – identichnost' avtora v kontekste epokhi* [Literary path of Tsvetaeva: ideology – poetics – identity of the author in the context of the era]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Tsvetaeva, M.I. (1997) *Neizdannoe. Svodnye tetrady* [The unpublished. Summary notebooks]. Moscow: Ellis Lak.
4. Panova, L.G. (2003) "Mir", "prostranstvo", "vremya" v poezii Osipa Mandel'shtama ["World", "space", "time" in the poetry of Osip Mandelstam]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
5. Levinson, A. (1923) Parizhskaya vetv' russkoy literatury (vtoroy sbornik "Okno") [The Paris branch of the Russian literature (second collection, "Window")]. *Zveno*. 13 August. 28. p. 2.
6. Fedotov, G.P. (1926) Tri stolitsy [Three Capitals]. *Versty*. 1. pp. 147–163.
7. Mednis, N.E. (2003) *Sverkhteksty v russkoy literature* [yper-texts in Russian literature]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
8. Adamovich, G. (1926) Literaturnye besedy [Literary conversations]. *Zveno*. 22 August. 186. pp. 1–2.
9. Adamovich, G. (1927) Literaturnye besedy [Literary conversations]. *Zveno*. 23 January. 208. pp. 1–2.
10. Tsvetaeva, M.I. (1998) *Sobranie sochineniy* [Works]. 7 v. Moscow: Terra.
11. Adamovich, G. (1923) Russkaya poeziya [Russian poetry]. *Zhizn' iskusstva*. 16 January. 2 (876). pp. 3–4.
12. Adamovich, G. (1925) Literaturnye besedy [Literary conversations]. *Zveno*. 4 May. 118. pp. 1–2.
13. Adamovich, G. (1923) Poety v Peterburge [Poets in St. Petersburg]. *Zveno*. 10 September. 32. pp. 1–2.
14. Adamovich, G. (1924) Literaturnye zametki [Literary Notes]. *Zveno*. 6 October. 88. pp. 1–2.
15. Svyatopolk-Mirskiy, D. (1925) *Russkaya lirika. Malen'kaya antologiya: ot Lomonosova do Pasternaka* [Russian lyrics. A small anthology from Lomonosov to Pasternak]. Paris.
16. Mirskiy, D. (2014) *O literature i iskusstve: Stat'i i retsenzii 1922–1937* [On art and literature: Articles and Reviews 1922–1937]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
17. Adamovich, G.V. (1926) "Volya Rossii" ["The will of Russia"]. *Zveno*. 4 July. 179. p. 8.
18. Tsetlin, M. (1926) O literaturnom konservatizme i knyaze D. Svyatopolke-Mirskom [On literary conservatism and Prince D. Svyatopolk-Mirskiy]. *Poslednie novosti*. 8 July. 1933. p. 4.